

Герффрид Мюнклер
ОСКОЛКИ ВОЙНЫ
Эволюция насилия
в XX и XXI веках

Herfried Münkler
KRIEGSSPLITTER
Die Evolution der Gewalt
im 20. und 21. Jahrhundert

УДК 355/359
ББК 63.3(0)
М98

Herfried Münkler
Kriegssplitter: Die Evolution der Gewalt
im 20. und 21. Jahrhundert

Мюнклер, Герфрид

М98 Осколки войны: Эволюция насилия в XX и XXI веках / Пер. с нем.
А. И. Лоскутовой. — М.: Кучково поле, 2018. — 384 с.
ISBN 978-5-9950-0891-0

Многое говорит о том, что эпоха классических межгосударственных войн подходит к концу или уже закончилась. Однако война никуда не исчезла, она изменилась, приняв новую форму, тем более, что современную Европу вновь охватил страх перед большой войной. На смену традиционным конфликтам пришли гибридные войны. Эта трансформация подробно рассматривается в новой книге Г. Мюнклера. Сегодня, по мнению автора, представление о пространстве в политике изменилось. Границы и территории утратили свою актуальность, а на первое место вышел контроль над потоками. И теперь эти тенденции меняют саму природу войны.

Книга предназначена для специалистов в области военного и стратегического планирования, политологии и международной политики, а также широкого круга читателей.

УДК 355/359
ББК 63.3(0)

ISBN 978-5-9950-0891-0

© 2015 by Rowohlt Berlin
Verlag GmbH, Berlin, Germany
© ООО «Кучково поле», издание
на русском языке, 2018

Введение

Эволюция насилия в XX и XXI веках

Страх перед большой войной вновь охватил Европу. Причиной этому стала отнюдь не затянувшаяся гражданская война в Сирии и поразительные успехи, которые в последние годы демонстрируют боевики Исламского государства* в Леванте, а в первую очередь резкая реакция России на действия Украины, проявившаяся после того, как в начале 2014 года та в результате государственного переворота разорвала вассальные отношения с Российской Федерацией. Всегда, как только в дело вступает Россия, в памяти немедленно оживают образы холодной войны и вновь возникает ощущение нависшей угрозы. Это и есть главное отличие от реакции [европейцев] на гораздо более кровавые и жестокие события гражданской войны в Сирии. Присоединение Крыма и поддерживаемое в России противостояние с сепаратистами на Донбассе серьезно сказались на уверенности европейцев в том, что они больше никогда не станут свидетелями войны в Европе. Во всяком случае, период, охватывающий более двух десятилетий, в течение которых Европа спокойно получала свои «мирные дивиденды», определенно подошел к концу, и теперь уже никто не сможет сказать наверняка, повторится ли он когда-нибудь снова.

Беспечности в отношении политики безопасности положили конец вновь ожившие политические теории, чье время, каза-

* Исламское государство (ад-Дауля аль-Исламия) — международная исламистская суннитская террористическая организация, запрещенная в России. — *Примеч. ред.*

лось бы, только-только прошло: это теории конкуренции крупных государств, теории о моделях проявления их силы, а также представления о сферах влияния и геополитические концепции. На фоне возникших опасений и страхов XX столетие, которое, как считалось, уже подошло к концу, проявилось с новой силой: спорным остается вопрос, было ли оно действительно тем самым «коротким XX веком», как считают некоторые историки, который можно рассматривать как единую эпоху, охватывающую годы с 1914 по 1989/1990 год. Озабоченность по поводу конфликта на востоке Украины рождает опасения, что, возможно, конец конфронтации Востока и Запада не был началом эры стабильного мира в Европе, а лишь привел нас к ситуации, в которой насилие поглощает Европу, двигаясь от ее периферии к самому сердцу.

Обманутые чаяния наступления эры стабильного мира сами по себе были основаны на чисто евроцентристском восприятии мира — после 1989/1990 годов войны по всему миру не прекратились. Даже наоборот: их количество в глобальном масштабе в какой-то момент увеличилось, а напряженность подчас была куда выше, чем у прежних, дистанционных войн между Востоком и Западом — особенно если рассматривать массовые убийства в Руанде и Восточном Конго как военные конфликты. Геноцид в Руанде по степени насилия наверняка превзошел самую жуткую войну, а количество жертв в конфликте в восточной части Конго, унесшем жизни четырех с половиной миллионов человек, стало самым большим с момента окончания Второй мировой войны. Также и война в Афганистане, которая до вывода советских войск с Гиндукуша представляла собой одну из многих дистанционных войн эпохи холодной войны¹, в 1989/90 годах на самом деле не закончилась; она продолжилась при других обстоятельствах, порой даже при участии Германии, что в свою очередь повлекло за собой глубинную структурную трансформацию немецких вооруженных сил. Правда, здесь, у нас [т. е. в Германии] война в Афганистане, если не считать периода возмущений после нападений на немецких солдат, не стала серьезной темой для общественного обсуждения. Уж слишком далек от нас [европейцев] был Афганистан с географической точки зрения; преобладало мнение, что если вывести войска с этой

территории, то для нас [европейцев] проблема будет решена. В тот момент едва ли кто-нибудь мог осознать то, что в Гиндукуше Германия защищала свою безопасность, как говорил тогда прежний министр обороны Петер Штрук. Где-то в воздухе витала невысказанная идея, что если Запад решительно откажется от участия в любых конфликтах по всему миру, то эти конфликты через какое-то время урегулируются сами по себе.

Обостренный вариант мироощущения, согласно которому ключом к налаживанию мира во всем мире станет не вмешательство, а нейтралитет и терпеливое ожидание, заключается в убеждении, что почти все войны являются следствием интервенционистской политики Соединенных Штатов. В его основе лежит молчаливое предположение, что повсюду предпочтение отдается миру, а существующие конфликты могут быть разрешены мирным путем, если Соединенные Штаты не будут вмешиваться во все и вся. Не считая разнообразных оценок этих войн, сделанных через призму политических взглядов, подобная точка зрения характерна для постгероического общества, которое обобщает все царящие в нем настроения и затем выдает их за естественное поведение людей. Перефразируя Гегеля, можно сказать: кто смотрит на мир через призму постгероизма, тому и мир улыбается в ответ. Тот же, кто глядит на мир с воинствующей позиции, тому в избытке видятся войны и вооруженные конфликты, в которые он немедленно должен вмешаться, чтобы положить им конец и восстановить порядок.

Конечно, не все так просто, и поэтому необходимо сформировать совсем другую, третью позицию, в соответствии с которой зарождение постгероических настроений зависит от социальных предпосылок, которые в свою очередь подвержены весьма ограниченному влиянию со стороны политики². Однако наблюдения в отношении самих себя достаточно сложно поддаются обобщению; проще увидеть мощные группы, существующие где-то в других районах мира, которые желают войны, ибо они на ней наживаются. Это один из центральных элементов в теории новых войн. Поэтому новые войны, согласно одному из наблюдений, как правило, не заканчиваются сами собой, а нуждаются в участии третьей стороны, которая действовала бы в качестве посредника или миро-

творца. В этом теория новых войн противоречит основным убеждениям постгероического общества, и это, безусловно, одна из причин, почему она стала предметом множества серьезных дискуссий³.

Может быть, все зависит от перспективы, как считает культуролог Бернд Хюппауф?⁴ И да, и нет. На самом деле представление о более чем двадцатилетнем периоде мира в Европе существовало лишь благодаря тому, что междоусобные войны 90-х годов в Югославии, унесшие жизни более чем 200 тысяч человек, попросту были выведены за рамки остальной Европы. Конечно, Балканы всегда играли довольно незначительную роль в развитии европейской идентичности, однако то, что они находятся в Европе и являются неотъемлемой частью европейской истории, едва ли можно отрицать. В то же время проявления жестокости и насилия в отношении гражданского населения в Боснии довольно сильно пугали и озадачивали европейскую общественность. Так называемая резня в Сребренице — убийства боснийских мусульман, — устроенная сербскими военными и членами добровольческих объединений, стала символом провала политики ООН на Балканах и позором для Европейского союза, практически «у себя на пороге» проявившего бессилие в вопросах заботы о мире и уважении прав человека⁵. И только активное вмешательство американских военных положило конец вооруженному конфликту в Боснии и Герцеговине и Косово, ну или, по крайней мере, влияние оказала готовность прекратить его.

Предположительно, все эти факторы — европейское фиаско, провал политики Организации Объединенных Наций и, наконец, применение военно-воздушных сил США — привели к тому, что военные конфликты на территории Югославии очень быстро исчезли из коллективной памяти европейцев либо были вытравлены намеренно. Подобное «вытравливание» неудивительно и уже не в новинку: конструирование эпохи, наделенной определенным признаком, почти всегда основано на вытеснении всего того, что не вписывается в созданный или создаваемый образ эпохи. Это лишь одна из стратегий, с помощью которых мы обретаем ориентацию и уверенность в политическом мире. Однако порой подобное упрощение действительности превращается в самообман. Вероятно, так было

и в момент политического самоопределения европейцев, стремящихся к миру, и их историко-политического обращения к обеим мировым войнам. Тем важнее объективная оценка военных действий, ведущихся с конца 1980-х годов, а также критический подход к периоду с 1914 по 1945 год как с европейских позиций, так и в контексте мировой истории. И то и другое крайне важно. При этом Первой мировой войне, как своего рода «эпохальной вехе», придается особое значение. Поэтому здесь мы будем рассматривать ее глубже и подробнее, нежели Вторую мировую войну.

Исторический подход позволяет увидеть то, что объединяет войны, ведущиеся на периферии Европы — междоусобные войны в Югославии, вооруженные конфликты на Кавказе — от Чечни до Грузии, и нынешнее противостояние на востоке Украины: все они происходят на постимперском пространстве, которое образовалось в результате распада традиционных империй Центральной и Восточной Европы — империи Габсбургов и Российской империи. Однако нового, единого национального государства на нем так и не появилось. В основном здесь стали рождаться многонациональные и многоконфессиональные «империи»*, с одной стороны — Советская Россия (с 1924 года Советский Союз), а с другой — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев или, после Второй мировой войны, Социалистическая Федеративная Республика Югославия, которым в течение длительного времени удавалось гасить этнические и религиозные конфликты, но не устранять их. С началом распада этих «империй» конфликты запылали вновь, еще больше способствуя их распаду. В конце концов, Украина тоже относится к этому пространству; после 1991 года ей так и не удалось создать эффективное единое национальное государство; вместо этого этнические, конфессиональные и даже языковые центробежные силы положили начало гражданской войне, которая в свою очередь дала России возможность реализовать ряд своих геополитических проектов (Крым). При более подробном исследовании историче-

* Автор почему-то опускает факт, что, кроме того, после Первой мировой войны кроме «многонациональных империй» на этих территориях возникли: Польша, Австрия, Чехословакия, Финляндия и др. национальные государства. — *Примеч. ред.*

ских глубин этого кризисного и конфликтного пространства, растянувшегося от центральных Балкан до Каспийского моря, неизбежно приходится возвращаться к итогам и последствиям Первой мировой войны. Кстати, это также касается войн, ведущихся на другом постимперском пространстве, лежащем на периферии Европы, — между Сирией и Ираком, Ливией и Йеменом.

И тем не менее, в данной книге речь идет не только об общей истории войн последней сотни лет, систематизированной на основе определенного тезиса; скорее в ней прослеживаются противоречивые события, которые, с одной стороны, способствовали формированию зон стабильного мира, а с другой — привели к образованию «военного пояса», охватывающего весь земной шар и протянувшегося от Южной Америки (в основном от Колумбии) через Африку (Мали, Нигерии и до Сомали), через большую часть арабского мира (Йемен, Сирию, Ирак и Ливию) дальше на север и идущего от мирных на данный момент центральных Балкан через Черноморский регион на Кавказ, и далее через Афганистан и Пакистан, постепенно сужаясь в районе островной части Юго-Восточной Азии. В случае этого «пояса» речь идет о *гибридных войнах*; они называются таковыми, поскольку не укладываются в бинарную систему порядка, разработанную в Европе периода Раннего Нового времени испанской школой международного права и голландцем Гуго Гроцием: такая система бинарной терминологии определяла мировой порядок посредством противопоставления двух состояний и при принципиальном исключении третьего: война *или* мир, межгосударственная *или* гражданская война, участник *или* не участник войны — третьего, как говорится, не дано. И в самом деле, система международных юридических терминов со своей структурированной ясностью повлияла на политический порядок и даже подчинила его себе.

Гибридные войны в свою очередь отличаются тем, что двоичная система классификации для них не подходит и не имеет никакого значения: по сути, это гражданские войны, которые, как правило, обнаруживают сильную тенденцию к нарушению границ, и если из них не развиваются межгосударственные войны, то в основном потому, что государства, в которых бушуют эти конфликты, — это

страны-неудачники, или несостоявшиеся государства, которые просто неспособны вести межгосударственные войны. В случае наличия у конфликта тенденции к нарушению границ, которое часто связано с колониальными разграничениями исконных территорий, можно говорить о *транснациональных войнах*, представляющих собой нечто среднее между межгосударственными войнами и гражданскими, или, точнее, их гибрид. Таким образом, определяющий признак двоичной системы «*третьего не дано*» в этих войнах отсутствует; они становятся угрозой для мирового порядка, поскольку ставят под вопрос его основные принципы.

То же касается бинарного разделения на войну и на мир, в котором нарушение границ регулировалось правовыми актами — объявлением войны и заключением мира. Таким образом создавалась ясность относительно того, в каком из двух политических состояний находилась страна — война или мир, и какие действия в связи с этим допустимы, а какие запрещены. В новых войнах все совсем не так: здесь нет ни объявлений войны, ни заключения мира; вместо них сплошные заявления и соглашения, посредством которых применение силы временно приостанавливается или сокращается, чтобы затем возобновиться или набрать обороты. Сложно определить, в какой момент начинается такая война, и еще сложнее ее остановить или констатировать ее завершение — непонятно, на каком этапе находишься. Вследствие этого невозможно с уверенностью сказать, с кем имеешь дело: с партией войны или партией мира.

Конкретный пример: во время конфликта на востоке Украины европейцы ввели против России экономические санкции, поскольку решили, что российское правительство представляет собой партию войны; однако в то же время российская сторона позиционировала себя как сторонника мира, пытающегося замирить обе воюющие стороны конфликта. Теперь этому уже нельзя верить, и есть достаточно доказательств тому, что это было не так. Но чтобы завершить конфликт или хотя бы превратить «горячую войну» в замороженный конфликт, европейцы были вынуждены сделать вид, что согласны с терминологией русских, и общаться с ними на переговорах в Минске так, *будто бы* Россия представляла партию мира.

В таком решении нашла отражение разность подходов, практикуемых правительствами при переговорах с партизанскими группами, повстанческими формированиями или террористическими организациями, которым они на самом деле хотя и отказывают в политическом признании, но, соглашаясь на переговоры, его же и оказывают. Вооруженный конфликт на востоке Украины велся таким образом, что подобные переговоры были бы возможны и необходимы; в любом случае он представлял собой пограничное состояние между открытыми военными действиями и сохраняющимся миром, потому и возможно его определение как гибридной войны. Этот термин в данном случае подразумевает под собой отрицание системы мира и войны, основанной на бинарных терминах.

Бинарность терминов, правовых статусов и политических коалиций не только определила в Европе политическую систему, но и управляла эволюцией силы. Она способствовала тому, что производство военных мощностей становилось все более затратным, и в свою очередь это привело к тому, что число задействованных в военных конфликтах сторон постепенно сокращалось: к концу Средневековья и к началу Нового времени города и аристократические союзы сменились независимыми землями, затем вместо них стали выступать союзы крупных держав, а в последнее время, в период конфронтации между Западом и Востоком, вести крупную войну было по силам лишь двум сверхдержавам вместе с их союзниками⁶. Правда, если бы подобная война велась бы на самом деле, это было бы равносильно концу человеческой цивилизации.

Эта ситуация породила двойную эволюционную перспективу: в Северном полушарии доминировала идея продолжительного мира на всей Земле, или, по крайней мере, такого политического состояния, в котором не ведется межгосударственных войн, а военная сила используется только для противодействия насилию, где бы на планете оно не происходило. Такое направление эволюции силы для большинства европейских стран было связано с проектом по укреплению Организации Объединенных Наций и реализацией миссии, предполагающей преобразование всех военных сил в мировую полицию. Вслед за военным социологом Морисом Яновицем я называю это «перспективой констелиза-

ции»⁷. С момента появления угрозы самоуничтожения человечества в результате крупной (ядерной) войны еще одним направлением в эволюции силы стало поддержание военных сил в форме малых войн или так называемых *войн с малой интенсивностью военных действий* (low intensity wars); в подобных войнах бразды правления берут в свои руки небольшие государства, а крупные державы теряют свою привилегию ведения войны. Военный историк Мартин ван Кревельд назвал такое направление эволюции войн «преобладающим в XXI веке»⁸.

Оба предполагаемых пути развития, на первый взгляд идущие в совершенно разных направлениях и кажущиеся полной противоположностью друг друга, в конечном счете неплохо сочетаются друг с другом, по крайней мере, если расценивать *войны с малой интенсивностью военных действий* как *вызов*, а преобразование военных в полицию — как *реакцию*. Но это означает, что понятия преступления и войны, четко разграниченные и отделенные друг от друга силами европейского международного права, все больше переплетаются, и на их месте возникает новое противопоставление — преступного или же законного применения военной силы. Подобную подмену понятий можно наблюдать в заявлениях американских политиков, где те, против кого направляются американские военные силы, фигурируют в качестве «преступников» или называются «осью зла»⁹. При этом открытым остается вопрос, кто именно располагает *правом*, а значит *силой* классифицировать других политических деятелей как «преступников» и вести против них войну в рамках преступной парадигмы.

Проблема подмены военной парадигмы преступной заключается в том, что справедливость и сила в нее не вписываются; полномочия Организации Объединенных Наций, а конкретно Совета Безопасности, которой должен определять, кто преступник, и какие против него следует применять меры, заканчиваются либо его самоблокировкой, когда один из пяти членов СБ накладывает вето на принятое решение, либо когда некое государство или политическая группа единогласно признается преступным, но при этом никто не соглашается взять на себя полицейские функции, поскольку не видит для себя в этом личной выгоды. Противовесом служат

заявления политических сил, именующих всех, кто им негоден или стоит у них на пути, преступниками и под эгидой такой «легитимности» ведущих против них войну, выдавая ее за борьбу с преступностью. В последние два-три десятилетия в политике Соединенных Штатов наблюдаются признаки такой тенденции. В любом случае, традиционное различие между войной и миром, несомненно, становится все более размытым. Благополучные районы Севера продолжают проводить на периферии военные операции, исполняющие полицейскую функцию — в свою очередь из кризисных районов и зон военных действий они получают ответный удар, чаще всего в виде терактов.

Таким образом, существует целый ряд показателей, которые свидетельствуют о том, что эпоха классических межгосударственных войн подходит к концу или уже закончилась. В исторической перспективе кажется, будто две мировые войны первой половины XX века были последними крупными войнами этого типа, при этом обе они уже несли в себе элементы внутренней социальной войны: в Первой мировой войне за межгосударственным конфликтом, до основания пошатнувшим уклад многих стран, последовала серия гражданских войн, среди которых Гражданская война в России в 1918–1922 годах стала не только самой тяжелой и жестокой, но и имела самые далеко идущие политические последствия¹⁰. Во время Второй мировой войны во многих регионах гражданские войны велись одновременно с межгосударственной войной, и такая одновременность — наряду с тем обстоятельством, что для немцев война на Востоке имела характер идеологической борьбы — способствовала беспрецедентному преумножению насилия. Тем не менее, факт остается фактом: Вторая мировая война по своей форме была войной межправительственной, и это еще раз подтверждается способом ее завершения — подписанием Акта о капитуляции. К тому же увеличение степени ее разрушительного воздействия свидетельствовало о том, что война в качестве площадки для демонстрации противоположных политических представлений абсолютно непригодна и ведет к полному саморазрушению. На самом деле это выяснилось еще во время Первой мировой войны, и упорное стремление к миру в 1920-х годах стало политическим

выражением этого понимания. Но затем тоталитарные идеологии вновь попытались поставить войну себе на службу ради продвижения своих идеалов, завоевания территорий и преобразования общества. Исход Второй мировой войны предreshил судьбу этой тоталитарной военной идеи, и в том числе, за небольшим исключением, это касается и Советского Союза, который как раз сумел приобрести новые территории, но при этом оказался бессилем как в продвижении своих «идеалов», так и в трансформации общества и создании нового типа человека.

Однако война никуда не исчезла, она изменилась, приняв новую форму. И эта трансформация подробно рассматривается в книге. Но для начала необходимо остановиться на Первой мировой войне, ее месте в истории войн и значении для развития общества, а также ответить на вопрос, была ли Вторая мировая война «войной за новый мировой порядок». Это один из основополагающих вопросов для той части книги, которая посвящена «новым» войнам, военным тактикам с использованием боевых дронов, недавним вооруженным конфликтам на востоке Украины, в Сирии и в Северном Ираке. Поскольку геополитические вопросы играют важную роль не только в определении целей и задач войны, но также в предотвращении и предупреждении военных конфликтов, в конце книги речь пойдет об измененном политическом представлении пространства, где границы и территории уже утратили свою актуальность, а главной необходимостью стал контроль над потоками. Такое измененное восприятие пространства и контроля над ним (а не обладания им), как утверждается в этой части книги, в ближайшие десятилетия должно повлиять и на саму природу войны.

Часть I

Великие войны XX века

1 Лето 1914 года — века мировой истории

Обращаясь к прошлому в поисках своего места в настоящем, нельзя обойтись без исторической пунктуации — неких временных вех, что отделяют эпохи друг от друга, разграничивают новое и старое. Конечно, бывают и плавные переходы, когда современники даже не замечают, что происходят какие-то принципиальные перемены. Реально ощутимы лишь те моменты, которые связаны с радикальными переменами или судьбоносными годами (Erochenjahr). Год окончания Второй мировой войны — 1945-й — и разделения Европы на Восток и Запад был как раз таким судьбоносным годом; следующим стал год 1989-й: падение Берлинской стены, развал Восточного блока и конец холодной войны. Но неужели и 1914-й, год начала Первой мировой войны, также был судьбоносным?

У некоторых исследователей такая точка зрения вызывает сомнения: переломным моментом истории они скорее считают 1917 год, когда США вступили в Великую европейскую войну, а в России произошли две революции, вторая из которых коренным образом изменила весь мировой политический порядок на целых семь десятилетий¹. Вступление в войну Соединенных Штатов, вышедших из Первой мировой войны реальным победителем — они стали единственной державой, которая по-настоящему выиграла от своего участия в войне, нарастив в результате политическую мощь и добившись экономического процветания, — положило ко-

нец доминированию и господству Европы. А победа большевиков в Москве и Петрограде открыла эру революционных надежд, в которой политики и политическая интеллигенция куда увереннее, чем раньше, видели себя создателями нового будущего, преобразователями частной и общественной жизни. Эта эпоха завершилась, когда неумолимая сила обстоятельств, в конце концов, оказалась сильнее творческого запала политического авангарда. Авангардисты грезили созданием нового мира и нового человека². Художники, живописцы, скульпторы, писатели и поэты осуществили эту мечту — они создали новый образ мира и человека. Но социальным и политическим авангардистам это не удалось. Большевицкий коммунизм и его сторонники в Восточной Азии, Латинской Америке и Африке к югу от Сахары мобилизовали огромные ресурсы, но оставили после себя лишь выжженные пустыни истощенных обществ.

Так разве не логично было бы считать лето 1914 года концом старой Европы, а 1917 год — началом новой эпохи в мировой истории? Ту веку, коей стала Первая мировая война в истории, в таком случае можно было бы датировать не только моментом начала войны, но и всей ее протяженностью, и решающую роль в такой датировке сыграла бы эскалация насилия. Как правило, в момент начала крупных и радикальных войн невозможно предугадать, как долго война продлится и какие долгосрочные последствия будет иметь. Так было в 1618 году во время дефенестрации чешскими сословиями имперских наместников в Пражском Граде, то есть в тот момент, когда началась Тридцатилетняя война. То же касается вторжения прусской и австрийской армий в революционную Францию, в результате чего военные походы продолжались еще на протяжении более чем двух десятилетий. После этого политическая ситуация в Европе изменилась коренным образом.

Историк Эрик Хобсбаум, сформулировавший понятие «долгого XIX века», установил для него временные рамки с 1789 по 1914 год, таким образом, установив единый истори-

ческий период с момента Великой французской революции и до начала Первой мировой войны. Предложенная Хобсбаумом периодизация была охотно перенята как публицистами, так и представителями академической науки³. Но почему? Разве не логичнее было бы датировать конец этой эпохи, начавшейся с буржуазной революции, 1917 годом — годом успешно завершившейся революции социалистической? Или, если уж измерять историю войнами, разве 1815 год, ознаменовавшийся проведением Венского конгресса и утверждением на нем нового европейского миропорядка, не стал бы более подходящей датой для начала эпохи, которая в 1914 году закончилась уничтожением этого порядка?

Для датировки исторических периодов важна не только очевидность поворотных моментов, но и убедительность лигатур, объединяющих множество разнообразных событий, которые сами по себе могут показаться историческими вехами. Подобного рода лигатуры могут иметь социально-исторический, историко-культурный, исторически-ментальный, но также и историко-политический характер. Последний вариант, конечно, самый претенциозный и наиболее сложный, поскольку здесь необходимо следить за непрерывностью и продолжительностью структур и организационных моделей, которые находятся в постоянном изменении. Политическая история по определению является областью постоянных изменений. Стоит только начать искать в ней поворотные моменты, чтобы немедленно найти их в избытке; однако в поисках лигатур придется немало потрудиться.

Определение поворотных моментов и нахождение исторических лигатур — довольно деликатный процесс, ибо он отражает наше политическое самосознание вместе со скрытыми в нем ожиданиями будущего. Анализируя и классифицируя историю, мы проецируем на нее наши собственные ожидания и опасения. Историческая пунктуация, внесенная нами в историю, практически всегда не является результатом объективного наблюдения, а скорее отражает наши

разочарования или надежды на то, что все могло быть иначе — так, как хотелось бы нам. Многие представители немецкой интеллигенции, среди них выдающийся писатель Томас Манн, философ Макс Шелер, социолог Георг Зиммель⁴, приветствовали начало едва разразившейся в 1914 году войны, называя ее поворотным моментом в мировой истории и надеясь, что новые времена сотрут с лица земли пагубные явления последних десятилетий: господство материализма, власть денег, превратившихся из средства в цель жизни, и, не в последнюю очередь, все более заметную социальную эрозию. Интеллигенция глубоко заблуждалась: все, от чего она хотела избавиться, война лишь усилила — по крайней мере, если рассматривать длительный период развития. Они возлагали свои политические и культурные надежды на начало войны, таким образом, приписывая ей некий смысл, который оправдывал ее и даже «освящал».

В отличие от них, французская и британская интеллигенция считала 1914 год не столько прорывом, сколько закономерным продолжением истории. Сразу после начала войны представитель философии «жизненного порыва» Анри Бергсон, читая лекцию во Французской академии, предложил следующую аргументацию: эта война призвана защитить цивилизацию от варварства⁵. Таким образом Бергсон вплеп войну в длинную историческую цепочку, берущую свое начало в противостоянии Римской империи германским племенам. Для него 1914 год был не переломным моментом, а лишь новой главой бесконечной борьбы за самоутверждение цивилизации древних римлян с ордами варваров, наступающих с востока, из азиатских степей и германских лесов. Часто обсуждаемое противопоставление «глубины» немецкой культуры «поверхностной» французской цивилизации, предложенное Томасом Манном, становится понятным лишь в контексте реакции на высказанное Бергсоном толкование войны как защиты цивилизации от варварства. Бергсон задал идеологическое направление: защита латинской цивилизации от периодически наступающих с северо-востока варваров. То-

мас Манн противопоставил этому свое видение: защита немецкой культуры от французской цивилизации. Артиллерийский огонь с самого начала сопровождался словесной войной.

Англичане, подобно Бергсону, называли немцев гуннами, от которых нужно отбиваться и обороняться. Свою лепту в утверждение подобного прозвища, определенно, внес кайзер Вильгельм II, когда в 1900 году, провожая немецких морских пехотинцев, отправлявшихся из Бремерхафена на подавление Боксерского восстания, пожелал им, подобно гуннам под предводительством Аттилы, прославить свое имя в Китае⁶. Именно в результате этого неосмотрительного заявления германского императора немцы в английском восприятии превратились в гуннов. Впрочем, эта «гуннификация» немцев отчасти была связана с историческим эпизодом, когда в середине V века оборонительному союзу, возглавляемому Римом, в сражении на Каталаунских полях удалось дать отпор нашествию варваров. Это еще одно звено исторической цепочки, имеющее особый смысл.

Сравнение немцев с варварами также объяснялось немецким вторжением на территорию нейтральной Бельгии и жестокостями со стороны германских военных в отношении бельгийского гражданского населения, позднее получившим название «изнасилование Бельгии»⁷. Также можно предположить, что западные интеллектуалы постоянно подчеркивали варварство немцев, поскольку сами они, а точнее Франция и Великобритания, состояли в союзе с царской Россией, которая в западноевропейском сознании была классическим примером варварской империи. Двумя десятилетиями ранее подобный союз был бы просто невыносим: либеральные, демократические и революционные традиции Запада с политической и культурной точек зрения представлялись полной противоположностью репрессивно-авторитарным структурам Центральной и Восточной Европы, нашедшим воплощение в Российской империи. Отождествление немцев с варварами или гуннами означало некую преемственность в битве за цивилизацию, которая должна была замаскировать глу-

бокий политический кризис союза. В то же время этим прикрывался тот фактор, что в союзнической политике Франции и Великобритании геополитические интересы приобрели больший вес, нежели верность политическим отношениям или идеологическая близость. Возможность взять своего соперника Германию за жабры имела решающее значение.

Если не брать в расчет состязаний европейских интеллектуалов в вопросах самоопределения, то в чем же именно 1914 год стал поворотным моментом для всей мировой истории? Еще задолго до начала войны многие проницательные современники предполагали, что крупная война сможет не только в корне изменить глобальную политическую ситуацию, но и полностью перевернет социальный уклад и культурное самосознание европейцев. Малые войны, наподобие итальянских и немецких войн за объединение, ограниченных территорий и временем, Европе не помеха, чего нельзя сказать о войне, охватившей весь континент и затянувшейся на долгие годы. От такой войны предостерегали и Фридрих Энгельс с Августом Бебелем от имени социалистов, и польский банкир Иван Блюх, и английский журналист Ральф Норман Энджелл, говорящий с позиции экономического либерала, и Гельмут фон Мольтке (старший), легендарный военачальник, одержавший победы в битвах при Кёнигсгрэце и Седане, признанный авторитет в милитаристских кругах Европы⁸. Соответственно, Генеральные штабы обеих сторон старались выстраивать свои планы с расчетом на краткую войну и решающие сражения. Когда осенью 1914 года эти расчеты провалились — война продолжалась, залпы орудий не смолкали, а промышленное производство пришлось перестраивать под нужды длительной войны, — самые умные и прозорливые участники и сторонние наблюдатели отчетливо осознали, что Европу ждут коренные изменения как изнутри, так и в ее международном политическом положении. Интуитивно немецкие интеллектуалы, признающие значимость поворотного момента, оказались куда ближе к истине, чем английские и французские авторы, видевшие в происходящем преемственность исторических процессов.

Война не созидает экономических ценностей, а наоборот, пожирает их в неимоверном количестве в надежде на политические дивиденды, которые принесет ее окончание. Индустриализация войны лишь способствовала увеличению потребления ресурсов — все больше и больше государственных и частных состояний исчезали в ходе войны. 1914 год, как и следующие четыре года войны, стали настоящей трагедией для европейской буржуазии, видевшей в войне шанс на обретение политической гегемонии и разрушившей себя в социальном и экономическом плане в попытке реализовать эту возможность⁹. За время войны буржуазия в первую очередь сменила свои политические координаты: с позиции социального и политического центра она переместилась вправо. Таким образом активизировался процесс поляризации политических сил, жертвой которого во многих европейских странах в 1920-е и 1930-е годы пали не только демократия, но и сами основы правового государства. Лишь спустя несколько лет европейцы сумели вновь открыть для себя те политические возможности, которые были утрачены в 1914 году.

Поворотный момент, наступивший в 1914 году, как уже говорилось, стал результатом политических решений, важную роль в которых подчас играл случай. Любая случайность, ее отсутствие или ее иная оценка политически значимыми фигурантами — и все могло бы сложиться по-другому. Неужели цепочке событий, в которых определяющую роль играло стечение обстоятельств, можно приписывать значение мирового переломного момента? Безусловно. Ибо поворотные моменты не создаются умышленно, они, как правило, являются непредсказуемым результатом взаимодействия множества факторов.

В 1914 году также закончилась эпоха прогрессивного оптимизма, рассматривавшего войну как нерациональную форму урегулирования конфликтов и распределения ресурсов и ожидавшего, что со временем на смену военной силе придет индустриальная мощь. В тот момент люди верили в постепенное исчезновение войны из истории, или, по край-

ней мере, в то, что война будет вынесена на обочину «цивилизованного мира», ибо индустриальное общество Европы становилось слишком уязвимым, чтобы вести крупные войны наподобие войн 1618–1648 или 1792–1815 годов. К тому же индустриальная революция наглядно показала, что работа создает гораздо больше ценностей, чем можно захватить в войне. Этот прогрессивный оптимизм был полностью истреблен в 1914 году; насилие снова стало считаться основным потенциалом политической власти. Прошло почти целое столетие, прежде чем европейцы снова достигли того, что имели к 1914 году. Потому, по крайней мере, в некоторых областях эпохальный 1914 год определенно можно считать поворотным моментом, заслуживающим особого внимания.

2

Эскалация насилия: от Июльского кризиса 1914 года до политики «распространения революционной заразы»

То утихая, то вновь набирая обороты, в Германии продолжают споры о Первой мировой войне, основу которых с начала 1960-х годов составляют тезисы гамбургского историка Фрица Фишера¹. Однако эти дискуссии скорее перефокусировали, чем расширили политические взгляды на войну 1914–1918 годов и ее последствия. Обсуждение войны в этих дебатах в основном сводилось к ее предыстории и Июльскому кризису 1914 года, в то время как само течение войны, так и слившиеся в ней властные и геополитические конфликты особенно не обсуждались. Пренебрежение темой самой войны привело к тому, что насильственный характер европейской истории 1-й половины XX века, по сути, объяснялся борьбой за власть немецкой элиты и рассматривался как моральный вызов со стороны немцев. И то и другое небезосновательно: роль, которую немецкое руководство сыграло

Часть II

Постгероическое общество и моральный облик воина

6

Герои, победители, творцы мирового порядка (моральный образ воина и военное международное право в условиях симметричных и асимметричных войн)

Суша и море — разные плацдармы войны

Во все времена любые вооруженные конфликты на Земле несли в себе асимметрию, проявлявшуюся во множестве факторов, от разницы в уровне вооружений воюющих сторон и до неравноценности сил континентальных и морских держав. Стараясь компенсировать разницу в военной оснащённости, воюющие стороны стали вооружаться одновременно оружием дальнего и ближнего поражения — мечами и копьями, пиками и луками. Правда, подобное могло происходить только в профессиональной армии, а не среди ополченцев, прибегавших к оружию лишь в случае крайней необходимости. Начиная с греческих ополченцев VI и V веков до н. э. недостаток навыков ведения поединков непрофессиональные воины компенсировали тем, что выступали единым фронтом — «плечом к плечу». Уступая профессиональной армии в военной мощи, ополченцы компенсировали свое отставание за счет духа гражданского единства, ставше-

го их главным орудием на поле сражения¹. Таким образом, они сформировали новый тип симметрии, где на смену одиночным воинам пришла сплоченность отрядов, составленных вооруженными с головы до ног ополченцами. В то время как в поединке первоклассных воинов решающее значение имели сила и умение, опыт и решимость, в бою, где между собой сталкивались целые фаланги, гораздо важнее было взаимодействие: до тех пор, пока сосед прикрывал спину соседа, отряды воинов-граждан были устрашающей силой для противника, пусть даже сформированы они были далеко не из профессиональных воинов, смысл жизни и цель существования которых заключались в стремлении к военной славе и почету.

Таким образом, появлялись все новые типы симметрии, а вместе с ними — соответствующие правила и нормы войны, а также образ воина и соответственно его «гарантии», основанные на религиозных обязательствах или этических самоограничениях. При этом в те периоды военной истории, когда происходило нарушение симметрии (например, против отдельных воинов выступает единый и сплоченный отряд или в военном конфликте используется новый род войск, как, в частности, отряды профессиональных лучников и т. д.), международное гуманитарное право, вмещающее в себя все возможные обязательства и самоограничения, каждый раз находилось под угрозой. В такие моменты воюющие стороны, захлебываясь взаимными упреками и обвинениями в коварстве и предательстве, начинали пренебрегать прежними длительными договоренностями в отношении ограничений военного насилия. Со временем отстающая сторона начинала наверстывать упущенное, например, принимая решение о создании отрядов лучников, и постепенно приближалась к уровню военного оснащения противника, тем самым восстанавливая симметрию. Как правило, эта симметрия становилась более комплексной, чем была до этого, ибо речь идет об обновленной симметрии всех участников войны. Стремление к победе и самосознание воинов, движимых жадной

признания их героизма, обеспечивали восстановление симметричных военно-политических положений в случае их нарушения².

Однако в противостоянии континентальных и морских держав восстановление (или создание) симметрии выглядело более затруднительным: континентальные державы тоже могут строить корабли и оснащать флот для борьбы против морских держав, а морские державы в свою очередь также способны высаживать сухопутные вооруженные отряды и вести войну на суше. И все же стратегии, цели и задачи войны в обоих случаях слишком отличаются друг от друга: стратегия континентальных держав нацелена на решительный бой, в то время как морские державы предпочитают ведение длительных войн на истощение. Для континентальных держав решающая битва служит кульминационным моментом войны и одновременно мерилom возможностей воюющих сторон; для морских держав, напротив, в войне самым главным остаются имеющиеся в распоряжении ресурсы.

Перикл, ведущий афинский политик, напутствуя своих земляков на войну с аристократической Спартой, в первую очередь говорил о различиях между сушей и морем: спартанцы жили своим трудом, не располагали особыми средствами и были неопытны в ведении длительных войн. «Дать отпор грекам в одной-единственной битве — на это пелопоннесцы и их союзники способны, но вот бороться с державами совсем другого рода им не по плечу»³. Перикл, а с ним и историк Фукидид, вложивший в уста политика эти слова, был одним из первых, кто смог стратегически осмыслить асимметрию, создаваемую противостоянием морского и сухопутного боя, и использовать ее в качестве аргумента для придания смелости афинским ополченцам в борьбе против спартанской профессиональной армии: если спартанцы не смогут провести решительный бой и афинянам удастся затянуть войну, то в результате война с закаленными морем ополченцами может оказаться солдатам-героям не по пле-

чу. «Важнейшим затруднением станет для них нехватка денег, которые достаются им с таким трудом и так нескоро; а ведь военные обстоятельства не заставляют себя ждать». И еще: «Благодаря нашей мореходности мы обладаем большим опытом в сухопутной войне, чем они, ограниченные материком — в морской. Однако стать опытными мореходами так просто у них не получится»⁴. И хотя в конечном итоге в войне со Спартой Афины потерпели поражение, в этом конфликте впервые нашла отражение неравноценность войны на море и на суше: в речи Перикла банальная несимметричность морской и сухопутной войн превратилась в стратегически осмысленную асимметрию.

С точки зрения спартанцев афинская стратегия скорее годилась для торгашей, а не для героев⁵; в ответ они решились совершить нечто совсем негероическое, а именно срубить оливы и виноградники в Аттике, дабы спровоцировать афинян на решительные действия. По представлениям того времени такое действие было равносильно военному преступлению, поскольку, для того чтобы вновь посаженные маслины начали плодоносить, требовалось не менее одного десятилетия; то же касалось виноградников. Конечно, сжигание годового урожая зерна противника во время войны было обычной практикой, наносившей значительный ущерб городу, однако в таком случае речь не шла о его реальной экономической гибели. По сути, поджог запасов зерна был одним из основных элементов афинской военно-морской стратегии: войска высаживались в разных частях побережья, наносили неожиданный удар союзникам Спарты и возвращались на свои корабли, прежде чем спартанцы успевают среагировать на это и направить своих профессиональных воинов в ответ. Фукидид описывает действия афинян следующим образом: «Высадились в предгорье Левкиме и опустошили пашни». Или: «Афиняне разорили их земли», а также: «Там они сошли на берег, разорили пашни и напали на бастион сиракузцев, однако взять его не смогли; затем с пехотой и флотом дошли они до реки Териас, вышли на поля, разграбили их и сожгли

хлеб; [...] на обратном пути они также подожгли нивы инесайцев и гиблейцев»⁶.

Серьезное военное преступление лакедемонян стало реакцией на неготовность афинян уступить признанному превосходству спартанцев в военных поединках. Спартанцы решились на эскалацию, поскольку им была необходима решающая битва. Сама по себе экономическая война, основанная на разрушении трудно восстанавливаемых ресурсов, претила им. Спартанский командующий Архидам рассчитывал на то, что афиняне вступят в решающую битву и затем явятся к спартанцам на поклон. Они бы наверняка могли даже пойти на политические уступки, побоявшись увидеть «свою страну в полном опустошении, покуда она еще не погублена»; поэтому Архидам долго сдерживал своих солдат, прежде чем начать поистине разрушительные действия⁷. Однако, не получив предложения от афинян, Архидам приказал полностью опустошить Аттику. Судя по всему, нарушение симметрии в войне происходит в тот момент, когда одна из сторон, понимая, что соблюдение правил ущемляет ее интересы, проявляет готовность к нарушению правил. Иными словами, актуальность этических норм и установленных правил, очевидно, привязана к симметричности военной ситуации. Как только она нарушается, готовность к соблюдению этих правил и норм исчезает.

Героическое преобразование воинов

Откуда же взялись эти симметрии? Очевидно, они появились не сами по себе, а формировались в результате договоренностей и соглашений. При этом сами воины были в первую очередь заинтересованы в этих симметриях: они охотно подчинялись их условиям. Профессиональных бойцов интересовала не столько сама победа, сколько сопутствующие ей признание и уважение, почести и награды. В своем труде «Феноменология духа» Гегель говорил об этом, описывая стремление

самосознания к признанию. При этом готовность к смерти является в нем решающим критерием: насколько сильно привязано стремящееся к признанию самосознание к продолжению своего физического существования, страшится ли оно битвы не на жизнь, а на смерть или ему настолько важно признание, что оно готово променять на него даже свою жизнь?⁸

В своем сочинении Гегель не упоминает о важности правомерности борьбы, ибо только в правомерной борьбе победитель может считаться настоящим героем, а не обычным убийцей. Героизм в случае, когда речь идет о поединке с воином, а не битве с драконом или чудовищем, зависит от симметричности ситуации. Только в битве, проведенной по всем правилам, победитель может претендовать на звание лучшего воина. А если найдется поэт или историк, который напишет о состязании, то победитель будет считаться героем. Именно поэты творят из воинов героев «в сияющих доспехах», превращая тем самым героический эпос в залог симметричности военных действий. Героический эпос — это не только словарь героических терминов, это и свод правил. Именно поэтому он так консервативен и жестко противится каким-либо инновациям.

Именно ориентация на героический идеал привела к формированию этических и эстетических норм, за счет которых воины выделялись на фоне всего остального общества; они и определяли образ, выходящий за рамки деления на друзей и врагов: благодаря этому образу воины, даже будучи противниками, имели ряд общих свойств, роднящих их друг с другом и обособляющих от не-воинов. Эта общность солдатского существования, не зависящая от принадлежности к тому или иному лагерю, и одновременная изоляция от всего остального общества находит явное выражение в песне всадников из пьесы Шиллера «Валленштейн». В первой строфе причастность к братству всадников сравнивается со свободой, а во второй Шиллер придает остроту этой мысли, представляя ее в моральном и эстетическом аспектах. Здесь солдаты являются воплощением мужества и свободы, откровенности и чистоты, еще сохранившихся в мире:

Содержание

Введение: Эволюция насилия в XX и XXI веках 5

ЧАСТЬ I

Великие войны XX века

1. Лето 1914 года — веха мировой истории 16
2. Эскалация насилия: от Июльского кризиса 1914 года до политики «распространения революционной заразы» 23
3. Мифологизация жертвы и реальные смерти 53
4. Первая мировая война и конец буржуазного мира 77
5. Вторая мировая: война за мировой порядок 103

ЧАСТЬ II

Постгероическое общество и моральный облик воина

6. Герои, победители, творцы мирового порядка (моральный образ воина и военное международное право в условиях симметричных и асимметричных войн) 132
7. Героические и постгероические общества 157
8. Новые боевые системы и этика войны 174
9. Что же нового в «новых» войнах? 192
10. Информационная война. Роль СМИ в асимметричных войнах 211

Содержание

ЧАСТЬ III

Классическая геополитика, новые представления о пространстве и гибридные войны

11. Плюсы и минусы геополитического мышления 235
12. Украина и Левант: войны на периферии Европы и борьба за новый мировой порядок 242
13. «Пространство» в XXI веке. Геополитические разломы и сдвиги 276
14. Актуальность прошлого: попытка оценить события 2014 года через призму начала Первой мировой войны 305

Примечания 317
Библиография 356
Благодарности 377